

## О КНИГЕ МИХАИЛА БУТКЕВИЧА «К ИГРОВОМУ ТЕАТРУ»\*

Мама!  
Ваш сын прекрасно болен.  
Мама!  
У него пожар сердца.

*Маяковский.  
«Облако в штанах»*

Письмо первое — признание в любви человеку, другу и поэту, писателю, режиссеру (первому режиссеру я признаюсь в любви).

Милый Михаил Михайлович!

Я люблю Вас! Я люблю Вашу маму. Как же она тогда боялась за Вашу будущую жизнь! «Дорогой мой Михасечек, единственный мой сыночек, солнышко мое! Прости свою несчастную мать за то, что она сломала тебе жизнь...» — писала она Вам свое последнее письмо.

Иногда мне кажется, что Вы мой брат, иногда, что я Ваш отец, и я так горжусь Вами и люблю Вас. Иногда мне кажется, что я Ваш сын, и я чувствую вину и угрызения совести, что я так и не смог помочь Вам и не смог понять.

Вы прожили самую замечательную ЖИЗНЬ и создали столь великую книгу-откровение, что можно, воспользовавшись вашим же определением таланта и гениальности, сказать, что Вы создали все, что Вам было положено по статусу гениальности: «Талант развивается, и это... можно наблюдать... и объяснить... он может не успеть развиваться! Раскрыть себя полностью; гений обязательно высказывается до конца...»

... Гений художника не развивается, он задан заранее и сразу целиком. Раскрывшись до конца... он... исчезает из мира» — и далее длинный список гениальных поэтов и режиссеров, так рано погибших. Поэтому я не плачу — все было предопределено вашей гениальностью. Я не плачу — люблю.

\* \* \*

И ВОТ ОНА — ЭТА ГЕНИАЛЬНАЯ КНИГА ПЕРЕД НАМИ, А ВАС НЕТ...

Более всего я чувствую себя Вашим учеником, нерадивым, но все же любимым учеником.

Я Вас видел, был знаком, разговаривал, слушал, восхищался, был Вами выделен, и все не придавал значения, не внимал Вашим часто и мельком бросаемым в искрящемся потоке откровений словам: «Я им говорю — я умираю — они не верят!» Я думал, что это присказка такая.

Маме моей я отдал бы Вас в сыновья.

Я ни разу не угостил Вас даже чаем, и в моей мастерской, где мы встречались, Вы курили, курили и бесконечно интересно планировали со мной спектакль будущего с моим участием вовсе не как художника, а такой спектакль, где я, по Вашему мнению, должен был быть и сценаристом, и актером, и импровизатором.

---

\* Впервые опубликовано: Театральная жизнь. 2003. №4/5.

Я был поражен и потрясен Вашими похвалами даже моих пьесок, а я и не знал, что за Вами такая КНИГА-ОТКРОВЕНИЕ.

Вы рассказывали так интересно, тонко, подробно, с отступлениями, с таким восторгом, с горящими глазами и казались десятилетним ребенком. Вы были совершенно седым, даже белым, с белою, недлинной, вполне светской бородой и короткой седой прической. И улыбались Ваши глаза и губы, и Вы курили, курили.

И Вы для меня представлялись ангелом, даже очень умным ангелом, ангелом-хранителем, ангелочком, в отличие от известных мне других режиссеров, кощунственно изображающих кто совершенно блаженного Бога Отца, кто насупленного Бога Сына, кто всесильного, но мелкого черта, кто волевого партийца с человеческим лицом, кто догматичного русского религиозного философа на банкете, кто колдунью Наину или другую из Макбета. Но более всего они любят изображать богов и бесов.

Надо собрать их в большой комнате, посадить за парты и читать им эту книгу — лирический трактат о театре с юмором и слезами — вслух.

Впрочем, есть советы и получше — бежать от толпы. Я предлагаю иметь день памяти Михаила Михайловича Буткевича и ежегодные чтения его текстов.

Еще лучше и фантастичнее читать (не очень актерствуя, не так, как Онегина) этот лирический трактат по телевидению по программе «Культура» или по «Свободе» (надо предложить Марине Тимашевой).

Впрочем, Вы утверждали совершенно другое: «Как рыцарь с ребенком от страшного лесного царя, вынужден нынешний режиссер спастись от безжалостных вурдалаков масс-медиа...»

«... На экранах телевизоров возникают, двоятся, троятся и десятирятся, размножаясь, вероятно, почкованием, бесчисленные и бессовестные политические авантюристы, схватившие и не отпускающие из своих цепких и липких лап целую страну... Неужели для вас нет ничего святого?... Куда вы нас тащите? Остановитесь...»

И все же о неприятном Буткевичу — тиражировании, противоположном импровизации. Похвала Антону Табакову и Людмиле и Денису Смирновым за финансовую поддержку издания. Вот уж кто вложил деньги в самое лучшее дело. Это ведь не спектакль и не книга. Это триста спектаклей и тридцать книг.

Спасибо отдельно и издательству ГИТИСа. Это самый лучший подарок на все будущие года.

Я столь невнимателен был, что не вырезал ваше фото в какой-то газете с чьим-то несколько фамильярным, но потому и трагическим заголовком: «МИША БУТКЕВИЧ УМЕР!».

... Я обмер... а Ваши планы?.., а книга?.. Книги!!!

И вдруг письмо — огромное письмо в 700 страниц, — книга, от которой невозможно оторваться. Вами и книгой, уверен, восхитились бы и великий Шекспир, и самостоятельный В. В. Розанов, и робкий Станиславский, и остроумный Сенека.

Где же Ваши друзья-поколения — великий греческий этик М. Л. Гаспаров, великий Иерат и Художник М. М. Шварцман, актер-эрудит Ю. М. Лотман? Почему Вы не пообщались с ними, скромными и достойными Вас?..

С кем же Вам приходилось общаться? А Вы о Всех так хорошо. И главное — нашли ноту написать правду, а в конце — хорошо.

Я лучше не читал книги по театру, а может быть, книги, написанной человеком, которого я видел, был знаком. Не читал книги, которой бы больше восторгался. Правда, мне нравятся многие авторы — Бруно Шульц или Розанов, ставящий Лермонтова выше Пушкина и Гоголя — божественнее.

Но ближе к Театру. Я все спрашивал у эрудитов, не режиссеров — Смелянского и Юрского — на вечерах памяти нашего друга и художника П. Белова: где же вразумительно прочитать о «Системе», т. к. наивное последовательное повествование очень умного ребенка о его жизни в искусстве прочитал и не нашел того, что искал. Может быть, в «Работе актера над собой» или в

книге о взаимоотношениях Станиславского и Немировича-Данченко — в очень яркой и хорошей книге Ольги Радищевой... может быть? — Недоуменно пожимали они плечами. Тоже не знали точно.

Тогда ни они, ни я не знали о Вашем «Игровом театре». И ведь только там я понял правильно что-то о системе из третьих рук: Станиславский — Попов, Кнебель — Буткевич.

Я спросил Б. Морозова, Л. Хейфеца, с восторгом рассказывая им... но всем не до чтения, не до объяснения. Хотя какой очаровательный портрет Хейфеца — сначала подробная правда с резким ложным выводом и потом катарсис Буткевича, а за ним и читателя. Так интересно и подробно о театре ведь и не писал никто. Прочтите лишь один кусок о моем дружке — первом, по времени, классике-модернисте нашего нового театра, улыбчивом, но грустнящем Леониде Ефимовиче, да еще в компании с А. Д. Поповым и с Н. П. Охлопковым.

В третий раз... я случайно подсмотрел, как «шаманил» на рядовой репетиции последний любимый ученик Попова — Хейфец. Это была репетиция сцены в Кремле из самого лучшего хейфецевского спектакля «Смерть Иоанна Грозного», репетиция действительно рядовая: спектакль шел уже несколько лет.

Накануне режиссер зашел на спектакль, обнаружил, что нужно подтянуть колки, и назначил репетицию. Не было ни декораций, ни костюмов. При будничном дежурном свете актеры слонялись по огромной сцене и маялись, не понимая, чего от них хотят. Режиссер тихо нервничал и исподтишка метал икру в пустом зрительном зале, а я случайно проходил по задам сцены. Никто ни на кого не обращал внимания.

Вдруг непонятный шелест заставил всех повернуться в одну сторону. Хейфец медленно поднимался на сцену навстречу взглядам. Движимый умеренным любопытством, я затесался в толпу актеров: я знал Хейфеца давно, но ни разу не видел, как он репетирует. Молодой мэтр вышел на середину площади и жестом прославленного дирижера (обе руки полусогнуты и подняты на уровень лица по обеим его сторонам и раскрыты ладонями на аудиторию) потребовал тишины.

Ладони его заметно качнулись два или три раза — на нас и от нас: подождите немного. Он стоял в центре редковатой толпы — ноги на ширину плеч, голова опущена вниз, развернутые ладони над головой. Прошла долгая минута, две минуты, пошла третья. Актеры беззвучно продвигались к режиссеру, сосредотачивались вокруг него; они поняли — сейчас будет сказано что-то очень важное, откроется высшая тайна, секрет этой сцены, и она пойдет. Я подумал: «Ну арап, ну хитер мужик», — но меня тоже невольно потянуло вперед. Хейфец медленно поднял голову, и я понял, что он все это время стоял с закрытыми глазами. Глаза раскрылись, и голосом провинциального гипнотизера он произнес:

— Здесь самое главное... поймать ощущение невыносимого одиночества... толпа одиноких людей...

Актеры благодарно и дружно зааплодировали, а я почувствовал, что неудержимо краснею. Не имея возможности провалиться сквозь землю, я задом, остороженько пятился в тень кулис, к помрежскому пульту, а в голове пульсировала брезгливая мысль: «И это расхожее общее место, эту заемную тривиальность он выдает за откровение, устраивает дешевую полуприличную прелюдию, эту режиссерскую „туфту“...»

Но я был немедленно наказан за свое высокомерие. Благоклонно дослушав овацию, Хейфец устало опустился в зал, и оттуда, из темноты, хриплым эхом донеслась команда:

— Нам теперь все понятно. Играем всю сцену без перерывов от начала до конца.

И они тут же сыграли, но как! — с необыкновенной, волшебной силой, пронзительно и проникновенно.

Спектакль я уже смотрел до этого, и не раз, но данная сцена показалась мне тогда проходной, второстепенной. Я отметил, конечно, свежесть ее пластического решения, красоту заляпанных известью строительных лесов и мимическую дерзость шакуровского красного шута, но не больше. Теперь же это была глубина и бездна, плач о сиротстве народа, никому не нужного и покинутого Богом...

А может быть, я присутствовал при самоубийстве режиссера, может быть, именно в эти минуты Ленья Хейфец умирал в актере?

Дал бы вам в журнал «ТЖ» все это с условием: каждый номер я берусь у вас писать О

КНИГЕ Буткевича с цитатами. Предлагаю перекличку нас — попугаев, — любых критиков и режиссеров. Буткевич не нуждается в рекламе и разборе. Он сам кого хочешь разберет. Но мы могли бы и обязаны общаться о серьезном.

Как много времени прошло со дня выхода книги, и никто не написал. Пишут о чем угодно, и все с издевкой. А о хорошем, редкостном — то ли трудно, то ли не интересно.

В самом конце, всего на 27 страниц М.М.Б. рассказывает о себе.

Детство, город Прохладный, мама, арест, обыск, тюрьма, письмо, расставание, дворняжка Джипси, детприемник, хорошие люди, зрители его первого спектакля-завтрака, письмо матери, спальня, кастелянша, ласковый шепот: «Не бзди, казак, — атаманом будешь», — а ведь Вы не только дворянин, но и казак, и можно было бы сказать, что Вы стали нашим атаманом театра. Но нет, Вы все-таки без банды — просто русский богатырь — один в поле.

Как только Вы запомнили этот страшный сон? Как удалось Вам восстановить его с такой ясностью, что я и все остальные видим все это лучше, чем в цифровом телевидении, чем тот счастливый день Ивана Денисовича, чем «Амаркорд». Куда там детство Толстого. Лучше повести не знаю. Сталин бы плакал, читая это, не только Мандельштам.

... В уборной было чисто, тихо, но темновато. Свет исходил только из двух круглых отверстий, предназначенных для большой нужды. Я подумал-подумал и опустился на колени возле одной из этих дыр.

«Дорогой мой Михасечек, единственный мой сыночек, солнышко мое! Прости свою несчастную мать за то, что она сломала тебе жизнь. Я не хотела этого. Я не виновата в этом. Умоляю тебя, не верь, никогда не верь, что я сделала что-то плохое. Что бы тебе ни говорили, я не виновата ни в чем. Я не была ни вредительницей, ни шпионкой, ни диверсанткой, я не участвовала ни в каких заговорах, как и те две хорошие женщины, которых ты видел в тюрьме. На нас свалилось огромное несчастье. Теперь тебя будут считать сыном врага народа, а это ужасно. Потому запомни мои слова: если для твоего счастья нужно будет от меня отречься, отрекись. Откажись. Перемени фамилию. Притворись, что не помнишь, кто твои родители и где они находятся. Сейчас в нашей стране такая зловещая пуганица, такая неразбериха, что это может получиться, и ты станешь как все остальные, избавишься от страшного клейма. Если ничего не переменится, никогда не пытайся разыскать меня, не заступайся за меня, не защищай мою честь, не пиши в Москву жалобных писем и никогда ничего у них не проси. Это нелюди, мой милый. Я не знаю, что со мной будет, останусь ли я в живых. Я не знаю, увидимся ли мы когда-нибудь. Наверяд ли. Прощай, милый. Будь счастлив. Мама.

P. S. Как только прочтешь это письмо, немедленно уничтожь его: сожги, порви, выбрось в реку или в колодец. Никто не должен знать, что ты прочел его. Никто и никогда. М. Б.»

Я выглянул в щелку. Во дворе по-прежнему никого не было. Я перечел письмо еще раз, разорвал его сначала пополам, затем на четвертушки, на восьмушки, на мелкие-мелкие клочки и медленно высыпал из ладонек в круглое очко. Там внизу над черно-зеленой жижей ходили сквозняки, и белые кусочки бумаги не садились, а порхали, как стая бабочек. Над дерьмом.

В конце концов они все-таки опускались, намокали, темнели и становились неразличимыми.

Я дождался, пока устанет летать последний мотылек, механически глубоко вздохнул и отправился в изолятор.

\* \* \*

Как Вы писали о сверхреальности записанного персонажа (Гамлета) на все времена, так и все они — Ваши герои — живые для меня до конца. И сыну книгу подарю, и он их будет знать и видеть. И другу Тонино Гуэрро — вот бы Вы с ним поладили и спелись. Ведь Вы же и по-итальянски чуть-чуть, а он по-русски немного. Он, правда, постарше Вас и живет не в стране ужасов, но побывал в плену и концлагере. Тонино все помнит и рассказывает, поет — рисует. Жаль, не удалось Вас познакомить.

\* \* \*

Мы говорим, что и театр, и педагоги, и студенты, и пьесы, и проза — все становится хуже, жиже, слабее, но ведь Ваши достоинства мыслителя и пишущего далеко превзошли слова и тексты самих основателей, не только нынешних режиссеров-героев.

О матери кто еще так написал?

Такой же грустью, но не такими страшными контрастами веет от воспоминаний о матери, родителях, близких Гаспарова, Бродского.

И все же лишь первый раз я увидел все это так ясно, что уже и не смог не нарисовать.

Поэтому, простите меня, милый Михаил Михайлович, что я вместо гимна Вам, вместо восторженного восхищения Вашими находками — театральными и литературными — пытаюсь нарисовать.

Был бы режиссером — поставил бы Вашего Макбета, Вашего Короля Лира, Вашу жизнь.

\* \* \*

Думая о Вас, как о герое моего времени и жизни, я часто ставлю рядом судьбу О. Н. Ефремова, о котором так нежно, с гордостью и смешно писал Толя Смелянский. На опыте прожитой Вами жизни и ее итогах становится ясно, как важно, как надо быть одиноким, пусть даже отторгнутым сильными, и главными, и объединенными, а не в толпе, банде, партии.

И как ни замечателен рукотворный Толей образ режиссера, но ВЫ — ПАМЯТНИК СЕБЕ ВОЗДВИГЛИ НЕРУКОТВОРНЫЙ!

Я им говорю — они не верят (беру Вашу присказку на вооружение). Повторяю:

ЭТА КНИГА — ПАМЯТНИК НЕРУКОТВОРНЫЙ.

Я читаю книгу поражающую. Я хочу с кем-нибудь говорить и говорить о Вас.

P. S. Да, в своих пафосных заметках я забыл, не вспомнил о том, сколько юмора, тысячи драгоценных камней — улыбок, смеха, издевок, хохота, смешинок, опять улыбок и юмора, юмора... юмора разбросано во всех уроках, разборах, выводах, экспликациях, сценках, характеристиках, историях; во всех даже грустных или, более того, трагических событиях всегда хоть щепотка юмора и ИГРЫ, той, которая в названии.

Никогда не читал такой серьезной книги, чтобы столько раз улыбаться, смеяться и хохотать.

Но Вы знали законы и литературы, и композиции, и восприятия, и учебы, и игры и все сделали легко, как Вы сами говорили, — как Лоренс Стерн.

И ЭТО О-ОЧЕНЬ СМЕШНАЯ КНИГА.

*С любовью Сергей Бархин,  
сначала мальчик, потом архитектор,  
даже художник,  
а теперь просто ВАШ навсегда  
25–28 января 2003 г.*